

A man with grey hair and a beard is shown in profile, looking out of a window. The window is framed by a brick wall, and bright light streams in from the right, creating a strong silhouette effect. The man is wearing a dark suit jacket over a purple shirt. The overall mood is contemplative and dramatic.

Татьяна Успенская (Ошанина)

# ВОЗМЕЗДИЕ





Татьяна Успенская (Ошанина)

# ВОЗМЪЗДИЕ

БОСТОН • 2023 • BOSTON

**ТАТЬЯНА УСПЕНСКАЯ (ОШАНИНА) Возмездие. Роман**  
Публикуется в авторской редакции

**TATIANA USPENSKAYA (OSHANINA) Retribution. A novel**  
Published in the Author's Edition

Copyright © 2014-2023 by Tatiana Uspenskaya (Oshanina)

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1-960533173

Published by M•GRAPHICS | BOSTON, MA

 [mgraphics.books@gmail.com](mailto:mgraphics.books@gmail.com)

 [www.mgraphics-books.com](http://www.mgraphics-books.com)

Book and Cover Design by M•GRAPHICS © 2023

Printed in the United States of America

***С любовью и болью  
посвящается памяти***

***Ефросиньи Керсновской,  
Давида Бацера — близкого мне человека,  
просидевшего в ГУЛАГе с 1922 до 1954,***

***И всех миллионов жертв  
Сталина и Ленина.***

## ==== Пролог

Сегодня мне исполнилось семьдесят шесть.

Передо мной мои «Воспоминания», которые я дописал в мои шестьдесят три. Я писал их вечер за вечером.

Сегодня, впервые за тринадцать лет, я открыл свои записки.

Говорят, перед смертью пролетает в твоём сознании жизнь в её самых главных событиях.

Но, похоже, сегодня я умирать не собираюсь. Так почему же снова, сегодня, стремительно тасуются передо мной вспышками и замедленными съёмками эти самые — главные события моей жизни? Проходные цепляются за них, претендуя на то, что и они тоже — главные? Почему именно сегодня вся она, моя грешная жизнь, снова летит, как космическая ракета, передо мной?

И почему он снова явился в мою жизнь, мальчик с сиреневыми глазами?

А я, сам перед собой — со стороны, хотя это моя жизнь, хотя я в центре всех этих событий, это мои события.

Я фактически убил человека.

Не пистолет, не кинжал — орудия убийства...

И он, этот человек, жив и, наверное, даже продолжает работать. Он — мой ровесник. И, по странному стечению судьбоносных обстоятельств, у него тоже день рождения. И ему тоже сегодня семьдесят шесть.

Он — сын кагэбэшника, который посадил моего деда, мать, тётку, приказал расстрелять отца. И сам он — кагэбэшник, продолживший дело отца, убивший много людей. А мать так никогда и не восстановилась после Норильского лагеря.

Он убивал и меня. Разрушил мою жизнь.

Мы с ним учились вместе почти восемь лет. И я сегодня должен что-то сделать... что-то решить... зачем-то он снова передо мной.

Помочь ему никак нельзя. Даже я не могу помочь ему, несмотря на то что именно я убил его — разрушил жизнь его.

Господи, помоги мне, спаси меня, хотя я и не стою спасения. Что делать мне с собой, с тем, что происходит внутри? Бунтующая маята сотрясает меня. Я виноват, Господи, перед ним и перед Тобой. Я пошёл против Тебя, против Твоей воли. Господи, помоги!

У меня несколько жизней.

До него.

С ним.

Третья... после моей мести.

Он был фоном, нет, он внутри моей жизни, он определил её и сломал.

И сейчас, в свой и в его день рождения, я снова с ним: вина глохнет меня, сжирает.

## **Воспоминания**

Мой первый класс.

Стою у окна в коридоре, листаю букварь. Подходит он. На голову выше. Глаза точно нарисованные — сиреневые, в чёрных, длинных ресницах, с чёрными бровями дугами. Плакат, не живой мальчик.

— Тебя мало кормят? — спрашивает.

Смотрю на него, задрав голову. Что ему от меня надо?

— Первый мой приказ тебе: иди в класс, возьми мел и раскрась свою рожу, чтобы мне стало весело.

Онемение прошло. Я повернулся и пошёл от него. Но в ту же минуту получил удар по голове и рухнул на лаковый, блестящий пол.

Коридор. Кругом ходят аккуратные мальчики. Учительницы кучкой стоят лицами друг к другу.

Он подхватил меня и поставил перед собой.

— Повторять не люблю. Последний раз. Иди в класс, возьми мел и разрисуй свою глупую рожу.

Смотрю в его сиреневые глаза и весь покрываюсь липким, противным потом. Вот сейчас, под властью его глаз, пойду, возьму в руки мел и...

Что происходит со мной?

Никто никогда меня не бил. В саду ни с кем я не дружил, я был бабкин, книжный, бормотал про себя стихи, плавал на кораблях, помогал пирату, с Робинзоном искал еду на острове.

Я всегда был в себе, мне себя хватало. А сейчас кто-то вышибает меня из меня.

Его, чужого, с сиреневыми, словно нарисованными глазами, воля надо мной?!

А где я?

И вдруг со всей силы я плюю в его глаза.

«Иди прочь!», — хочу крикнуть, но снова лечу на пол, стучаюсь головой о грязно-жёлтую батарею и отключаюсь.

Прихожу в себя уже в изоляторе от резкого запаха в нос.

— Слава Богу! — Необъятная мучная женщина в белом халате прикладывает что-то к моей голове. — Заживёт. Ты только скользнул по батарее. Кто это тебя? Не отвечай, пока молчи. Тебе нужно поспать. Скоро оклемаешься.



---

---

## Глава первая

### МОЯ БАБКА

---

---

---

---

#### Святая вода

Бабка гонялась за мной по комнате со святой водой всё детство. Бутылка была пузатая, с широкой крышкой.

— Сынок, дай умою. Никакая хворь не пристанет, никакая беда не приключится, никакой злой взгляд не сокрушит. Не я, Бог тебя умывает и охраняет.

Когда она меня всё-таки прихватывала, я выставлял заслоном руки, и вода стекала по ним, а бабка начинала плакать.

— Что ты со мной делаешь, сынок?

Бабка не объясняет, что я с ней делаю.

Маленький, я не понимал, что она хочет сказать, но каждый раз злился на неё и за её слёзы, и за дурацкие слова.

«Что я с ней делаю?» Да, ничего я с ней не делаю, только всей душой не хочу этой насильной воды.

Когда чуть подрос, решил бабку сам себе объяснить.

Ловить бабкино выражение лица, ловить слова бабкины, а потом гадать — какой смысл в них?

И почему она велит звать себя «бабка», когда надо «бабушка»?

За святой водой мы ездим вместе, очень рано утром, когда ещё совсем темно.

Долго бредём по нашей булыжной — каменной Лесной улице по всей её длине, от самого истока до метро Белорусская. Зимой чистят Лесную плохо, ноги вязнут в снежной каше или скользят на льду и отчаянно мёрзнут в холодных ботинках.

Мне нравится ехать в метро, я разглядываю людей. Кто-то книжку читает, и лица не видно. Кто-то свесил лицо на грудь и застыл, скособочившись, в неудобной позе. Почему-то чувствую: всем не весело и вовсе не нравится ехать.

Спрашивать бабку отучился раз и навсегда, когда однажды на мой вопрос «Ба, почему они чуть не плачут?» она отрезала: «Выра-

стешь, узнаешь». Фраза запала в меня, как таблетка, которую бабка даёт мне при температуре. Застряла где-то внутри, а потом растопилась по всему организму навсегда. Почему резко сказала? Почему узнаю, только когда вырасту?

Я привык придумывать за каждого его историю. Часто сразу много голосов говорит внутри. Наверное, эту старушку тоже кормят касторкой — она жалуется мне взглядом, а эту женщину заставляют есть манную кашу — она тоже расстроена и жалуется мне.

Зато молодые смеются и болтают: о новом фильме, о контрольных, об экзаменах, их голоса подсоединяются к голосам, придуманным и подслушанным мной.

Словно два народа обитает в нашей стране: молодые и старые. Одним живётся весело и беззаботно, а другие словно обижены. Или какое-то наказание несут, или навсегда сильно устали.

Бабка никогда не наказывает меня, но любит говорить: «Бог всё видит, обязательно накажет за то, что сделаешь плохо. За всё приходит возмездие».

— А когда я в туалете сижу, Бог тоже видит меня?

— Обязательно, — уверенно отвечает бабка.

Наконец мы приезжаем на станцию Измайловский Парк.

Наверное, бабке не нравится, что мы сначала долго идём пешком, долго едем в метро, а потом снова долго тащимся по протоптанной на мостовой тропе.

Особенно тяжело зимой, ноги разъезжаются на ледяном крошеве из смёрзшихся бесформенных комьев или вязнут в снегу.

Но зато, как праздник, свет свечей сквозь слезящиеся от растаявшего снега глаза.

«Красавица моя», «спасительница»... — долетают до меня голоса таких же, как моя бабка, старушек, и её голос впадает в перегуд. — «Чудотворная явит своё заступничество!».

Я уже знаю: речь об иерусалимской иконе Божьей Матери. В 41-м году фугасные бомбы падали рядом и не взрывались!

«Чудотворная отводила их — храм и нас берегла!»

«Колокола только в нашей церкви звучат по праздникам!»

О страшной войне я знаю, застал её «хвост», в сад пошёл в 44-м, она ещё не кончилась. Нам рассказывали о подвигах Зои Космо-

демьянской и Александра Матросова, о Сталинградской битве, в день победы мы вместе с кричащими, поющими и плачущими людьми, задрав головы, разглядывали дирижабли с портретом Сталина и тоже оралы до хрипоты. От Белорусского вокзала до нас долетали песни, гармошка, такие же торжествующие крики. А потом бабка читала мне «Сына полка».

Все разом замирают, как только начинается проповедь.

Бабка глаз не сводит с того, кто говорит.

Я ни слова не понимаю, но тут же подпадаю под власть говорящего: глаза — странные — словно втягивают меня в себя! От них плещет в меня теплом, я, наконец, согреваюсь. И внутри горячо. Чего-то ждут от меня его глаза. Я хочу быть хорошим.

\* \* \*

Жизнь почти прожил, а узнал совсем недавно, что в самом деле эта Покровская церковь, одна из немногих, не была уничтожена. В 40-х годах служил в ней Иоанн (Крестьянкин). Он не желал сотрудничать с органами, считая, что от него «требуют уступок невозможных», прихожане любили его за проповеди и за доброту. В 1950-х годах его арестовали. Один из сокамерников писал: «Помню, как он шёл лёгкой, стремительной походкой — не шёл, а летел — по деревянным мосткам в наш барак, в своей аккуратной чёрной куртке, застёгнутой на все пуговицы. У него были длинные чёрные волосы — заключённых стригли наголо, но ему администрация разрешила оставить их, была борода. И в волосах кое-где блестела начинающаяся седина. Его бледное тонкое лицо было устремлено вперёд и вверх. Особенно поразили меня его сверкающие глаза — глаза пророка. Но, когда он говорил с вами, его глаза, всё его лицо излучали любовь и доброту». В конце 50-х, когда советская власть снова стала закрывать храмы, он написал: «Не лишим себя храма, когда можем, и с собою носить его поучимся: сердцем упражняйся в незлобии, телом — в чистоте, то и другое сделает тебя храмом Божиим». Люди шли к нему, где бы он ни служил. Когда стал архимандритом (73-й год), к нему стали приезжать верующие со всех концов страны за благословением и советом, его почитали за доброту, высокую нравственность и духовность.

\* \* \*

Бабке нравится за святой водой в очереди стоять. Мне кажется, она греется в этой очереди, когда и спереди, и сзади — тихие жен-

щины, коснувшиеся чего-то такого, что соединило их в одно целое.

Я не иду за бабкой. Пока её нет, замираю перед ликами. Мне кажется, из глаз этих ликов текут слёзы, а вокруг голов ярко сияют солнца. Чувствую: всех этих людей, смотрящих на меня, жгут, бьют, мучают, протыкают стрелами. Ведь никто ничего такого не говорил мне, а мне кажется... всем им почему-то больно.

### **Вода. Енисей**

Мне один раз было сильно больно, когда я попал в ловушку для песка, и мне покорёжило ногу.

Ездили мы с бабкой очень далеко, в холодный край к её сестре.

Бабке пришлось разрешение, которого она ждала много лет. И, по словам бабки, началось наше путешествие на край света для возвращения в семью.

Сначала мы долго ехали в поезде, а потом ещё дольше на пароходе. Запомнил названия: Красноярск и Дудинку.

Много лет спустя Дудинка, как и Норильск, свяжутся с судьбами дорогих мне людей.

Очень долго ехали.

В поезде я всё в окно смотрел: поля, засеянные лёгкими, нежно зелёными всходами, леса, посёлки, города, столбы с проводами.

А вот на пароходе ослепила вода. И справа, и слева вода, то шире, то уже, то бурлящая, то спокойная. Она тоже лечит, как бабкина? По берегам сначала густые леса, с высоченными соснами, елями, с лиственницами, пихтами, красивыми кедрами, а дальше деревья всё реже и реже, ниже и ниже, и тоже поля, еле зазеленевшие. На пути от Туруханска до Дудинки деревья стали совсем низкие, и снег вернулся, словно сейчас вовсе не май.

Молчаливый старик, в шляпе, никак не вязавшейся ни с парходом, ни с молчаливыми, мрачными взрослыми и унылой природой вокруг, всё время смотревший на воду и на берег, вдруг сказал: «Дальше, сынок, мхи, лишайники и вереск с багульником, редко жёлтые полярные маки, вот и всё богатство. А знаешь сколько видов лишайников и мхов бывает?» — И он стал на незнакомом языке перечислять. Оборвал себя. Торопливо сказал: «Прости, сынок, разговорился, а ведь ты и не запомнишь!» Весь оставшийся путь он так и не сказал больше ни слова. А когда выходил в Дудинку, положил руку мне на голову и прошептал: «Запоминай всё, что увидишь, сынок! Творится история!»

И в поезде, и на пароходе бабка мне читала.

«Каштанка» Чехова, Гайдара «Голубая чашка», «Тимур и его команда»...

Происходящее в книжках странно действовало на меня. Я превращался по очереди в каждого выбранного мною героя.

Я — собака Каштанка. Это я плакал, когда потерял своего хозяина, никак не мог унюхать его след, это я радовался командам нового хозяина — садился, взывал, словно пел... мне нравилось, что я стал артистом, я ликовал, когда нашёлся старый хозяин.

Я — Тимур. Это я собрал ребят, чтобы помогать старикам и детям, у кого отцы на фронте. Это я сам колю и пилю дрова, приношу воду... Я большой и сильный, я всех спасаю и всем помогаю. Это я на мотоцикле везу Женю на встречу с отцом, который должен через какие-то минуты уехать на фронт.

В каждой книжке — свои приключения и новые чувства, которых раньше я не знал, новые занятия и новые опасности...

И каждая вызывала вопросы. Они раздували голову, требовали немедленного ответа, а бабка отвечать не любила, любила читать и задавать новые и новые вопросы, на которые я сам должен отвечать и которые как раз и становились бы ответами на мои вопросы. «Думай сам», — её присказка ко всему: к встрече с новым человеком, с героем в книжке, с пространством, через которое мы ехали или плыли.

Про наше путешествие она так и говорила: «Это твои университеты, сыночек. Слушай. Смотри вокруг и кушай глазами и ушами Россию».

Тогда я не понял её слова. Почему-то все ехавшие на том пароходе, были точно прибитые, молчаливые. Я внимательно смотрел на них, как учила меня бабка, подходил к ним, ожидая приглашения поговорить, но они ничего не рассказывали мне, да и друг с другом почти не говорили.

Подружился с несколькими мальчиками и девочками. Мы вместе носились по коридорам, по палубе, играли в догонялки, и никто нас не ругал.

А ещё приходил тощий дяденька с тусклыми глазами, с чуть хрипатым голосом и заставлял нас вместе с ним петь песню о Родине, которую чуть не каждую неделю мы пели в детском саду.

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек.  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек.

От Москвы до самых до окраин,  
С южных гор до северных морей  
Человек проходит как хозяин  
Необъятной Родины своей.

Всюду жизнь привольно и широко,  
Точно Волга полная, течёт.  
Молодым везде у нас дорога,  
Старикам везде у нас почёт...

Над страной весенний ветер веет,  
С каждым днём всё радостнее жить,  
И никто на свете не умеет  
Лучше нас смеяться и любить.

Но сурово брови мы насупим,  
Если враг захочет нас сломать, —  
Как невесту, Родину мы любим,  
Бережём, как ласковую мать.

Нарочно каждое слово пишу. Как разрушаться начнут все эти добрые слова для меня с годами! Большая ложь разольётся передо мной не переплываемой рекой.

Был и ещё один куплет, который мы все знали, но его почему-то пели не всегда.

За столом у нас никто не лишней,  
По заслугам каждый награждён,  
Золотыми буквами мы пишем  
Всенародный Сталинский закон.

Этих слов величие и славу  
Никакие годы не сотрут:  
— Человек всегда имеет право  
На ученье, отдых и на труд!

Как случилось, что столько десятилетий правил страной Анти-христ, Дьявол?

Мы с бабушкой редко ходили в кино, но на фильм «Цирк» она повела меня. И почему-то горько плакала, когда пели эту песню.

## Шуня и первая боль

Бабкина сестра оказалась очень тощая, с такими же глазами, как у ликов, и тоже с не выливающимися слезами. Надолго припала она к бабке при встрече, не оторвать — в единую статую превратились. А когда оторвались друг от друга, она присела на корточки передо мной. «Здравствуй, внучок. Теперь у тебя две бабки. Понял?» Я кивнул. А потом подхватила меня на руки и сильно сжала: стремилась вобрать меня целиком в себя и никогда не отпускать. Ни за что не сказал бы, что в ней столько силы. И я стал совсем мокрый, словно все свои слёзы она вылила на меня.

Бабка тоже горько плакала, будто не встреча это была, а расставание. Я спросил бабку, зачем же она плачет, если случилось возвращение в семью? А она и её сестра ещё горше заплакали.

Позже из их ночных шептаний я понял, что её муж исчез, как и бабкин, и что сын её погиб в восемнадцать лет в первом бою, детей не оставил, и что теперь она совсем на белом свете одна, и что жить ей на поселении неизвестно сколько.

Сестру звали Александра, а бабка звала её Шуня. «Почему Шуня, если она Саша?» — спросил я. Ответила Шуня: «Понимаешь, мне очень не нравилось, что я как мальчик, ну, я и листала имена: „Сашура, Шура“, всё равно мальчишки. А мне очень хотелось быть девочкой с косичками. Вот я и придумала „Шуня“. Уж никак не скажешь, что парень. Так что, ты тоже зови меня „Шуня“, договорились?»

Говорит так, словно я самый главный в её жизни... Вся она — тощая, с чёрнущими глазами-невыливайками, как у бабки, как у моего папы, как у меня, — сразу соединилась с бабкой в одно необходимое целое. И как мне было сладко спать между ними на деревянном, сначала холодном, потом тёплом топчане!

Шуня рассказала нам о громадном комбинате, где перерабатывают никель, о шахтах, которые не под землёй, а уходят в горы.

Она повела нас гулять по тундре.

«Гулять» громко сказано. Мы прыгали с кочки на кочку. И Шуня, и бабка делали это так же легко, как и я. Шуня рассказывала про каждую карликовую берёзку, ольху и про каждый цветок так, будто они её близкие родственники. Показала мох и ягель. И привела нас к зарослям морошки. Я никак не мог остановиться: ел и ел. А мои бабушки собирали в корзинку ягоды домой.

Мы целое воскресенье бродили по тундре.

А на обратном пути я попал в ловушку для песцов.

Наверное, все лики в бабкиной церкви тоже попадали в ловушку, так много в них слёз. Только слёзы у них из глаз не выливаются.

У меня тоже не выливались, они сбились во мне в душную кашу вместе с криком, который норовил вот-вот вырваться без моего желания. Но я откуда-то знал, что мужчина не должен плакать, и изо всех сил сдерживался, пока длинный, очень тощий доктор мучил мою ногу. Порой от боли всё чернело и пропадало вокруг, пока боль не превратилась в зудящую и ноющую.

— Собрал, Шунь, по осколкам, по косточкам. Достоин тебя, Шунь! — И улыбнулся мне: — Ну, парень, ты настоящий мужик! Надеюсь, бегать будешь!

Бегать в самом деле стал, правда, далеко не сразу.

Пришлось долго прыгать с костыльками, которые соорудил мне доктор, и с тугой повязкой, которую нельзя было шевелить, так как дощечки могли сбиться. Пока я был у Шуни, доктор делал мне перевязки. И я быстро понял, что он самый, самый главный для Шуни. Звала она его Петрюша. Я спросил, почему не Петя. Она сказала: «Люблю букву „ш“, она мягкая. Без этой буквы никак не могу проявить, какой он для меня большой! Понимаешь?» Волной захлестнуло меня. Я кивнул, не придумав слов.

Петрюша сделал так, что бегать я стал и совсем навсегда позабыл, что нога была сломана.

Но боль и те, сбившиеся в твёрдый ком, слёзы и рвущийся наружу крик помню.

И помню Петрюшу, смотрящего на Шуню. Такие же глаза, как у ликов, очень большие на тощем лице, и очень грустные. Но вместе с тем он смотрит и на Шуню, и на меня, и на мою бабушку так, как моя бабушка смотрит на меня: всё, всё готова отдать мне, что ни попрошу!

### **МОЯ БАБКА И МОЙ ДЕТСКИЙ САД**

В церкви перевожу взгляд с лица на лицо, ловлю истории про Святого Пантелеймона (лечил людей бесплатно, верил в Христа, хотя кругом были язычники, его мучили, потом голову отрубили), про святого Себастьяна (исповедовал христианство, стрелами утыкан, выжил, камнями забит), про Божию Матерь. В глазах многих застыла боль. Гадал, в какую ловушку попали они, кто и за что их мучил? И где тот доктор, который может собрать их в радость по осколкам и косточкам? Почему не идёт и не поможет им, чтобы они тоже побежали? И почему столько золотого света вокруг их голов?



Возвращалась бабка со своей пузатой бутылкой, прерывая мою очередную встречу с «ликами» и маяту за них, аккуратно вкладывала бутылку в чёрную, сшитую ею самой сумку и в ухо начинала шептать, каждый раз одно и то же:

— Бог поможет нам, ты только верь. Ты помолишься Богу, он вернёт тебе папу, мне сына, Бог поможет! Идём-ка, сынок, тебе пора в детский сад, а мне на работу. Христос пострадал за нас с тобой, чтобы мы с тобой хорошо жили. И мы всегда должны помнить это.

Перед сном она пела мне колыбельные. Это был целый ритуал. Она усаживалась на мою кровать, начинала гладить мою голову чуть дрожащей рукой, и тихо звучало усыпляя:

\* \* \*

Баю — баю — баюшки,  
Да прискакали заюшки.  
Люли — люли — люлюшки,  
Да прилетели гулюшки.  
Стали гули гулевать  
Да стал мой милый засыпать.

\* \* \*

Люли, люли, люленьки  
Прилетели гуленьки.  
Сели гули на кровать,  
Стали гули ворковать.  
Стали Венечку качать,  
Стал Венюша засыпать.

\* \* \*

Спи, моя радость, усни!  
В доме погасли огни,  
Пчёлки затихли в саду,  
Рыбки уснули в пруду...

Нет ни тревог, ни забот.  
Вдоволь игрушек, сластей,  
Вдоволь весёлых затей.  
Всё-то добыть поспешишь,

Только б не плакал малыш!  
Пусть бы так было все дни!  
Спи, моя радость, усни!  
Усни, усни!

Каждый день пела. Даже когда я был уже большой, я не хотел засыпать без её колыбельных и без её руки, которая гладила меня по голове и по лбу.

Жизнь в детском саду и дома разрывала меня на части.

В саду мёрзли голова и колени... Голова наголо стриженная, штаны короткие. Топили плохо. Стихи с громкими словами и песни с громкими словами били по голой голове, в ушах звенело. И манная каша с комками не лезла в глотку, а если и глотал я её, поднималась рвота.

Воспитательница Марина Дмитриевна была тоже громкая.

А вот встречи с тётей Мотей я каждое утро ждал. Она считалась нянечкой, хотя часто замещала Марину Дмитриевну. Это она раздевала нас и одевала, сажала на горшок, уговаривала и кормила с ложки, если кто-то из нас не хотел есть, согревала голову и колени своими жёсткими, но горячими руками. А когда воспитательница ругала меня за то, что я сижу особняком и не хочу читать стихи или громко петь вместе со всеми, тётя Мотя шептала мне в ухо: «Ты хороший. Ты умный. Верь в свои силы».

Мне часто было очень грустно в саду. Грусть заливала меня внутри, как горячая вода. И плыло парусом слово «мама», звучащее разными голосами, и тоже жгло. Тётя Мотя словно чувствовала это и шептала: «Ну-ка, вернись к нам, давай-ка, нарисуй что-нибудь интересное».

Рисовать я любил. Рисовал я жёлтые маки из Шуниной тундры или мох, или склонённую к земле берёзку. А то рисовал низкое, яркое, северное солнце над горизонтом и много лучей. Тёте Моте нравилось. А Марине Дмитриевне больше нравились мячики и кубики, которые рисовала Ася. У Аси были длинные ресницы и короткие косички. Она любила смеяться. И часто кидала мне мячик или тянула за руку строить вместе из кубиков дом.

Он был меньше нас всех. Так жалобно он плакал! Есть не хотел, спать после обеда не хотел. А однажды никогда больше не пришёл. «Отмучился» — вспыхнуло, погасло непонятное тёти Мотино слово.

А Марина Дмитриевна даже в тот день требовала от нас громко читать стихи. И в тот день тоже кричала на нас: «Сядьте ровно», «Сложите руки на коленях», «Вставайте, когда читаете стихи». Мне хотелось заткнуть уши от её крика. И было очень жалко её — почему она такая тощая, руки, как спички, почему рытвинки на щеке, почему чулки в резинку не ровные, а какие-то перекрученные. И глаза словно плачут. «Ну-ка встань, когда я спрашиваю тебя!» — кричит она.

Дома — тишина.

Бабка приводит меня из детского сада и начинает варить суп и кашу. Суп с горохом. Суп с клёцками. Суп с картошкой. Каша пшённая, каша перловая, каша манная. Бабкина — без комков, но всё равно глотать манную не могу.

Кручусь вокруг бабки.

— Ба, расскажи сказку. Ба, почитай.

А бабка гонит меня:

— Иди в комнату, я скоро приду, а ты пока придумай игру.

Комната у нас большая, с блёклыми паркетинами, которые бабка всё хочет покрыть лаком и натереть, с книгами, забившими целую стену, с двумя столами: большим обеденным посередине и письменным, прижатым к окну. Широкое кресло с резными ножками перед письменным столом, с бордовой ветхой шалью на нём.

А чего придумывать игру? Большой стол — то корабль, то поезд.

На корабле плыву на юг к морю и стою у штурвала.

Бабка читала мне «Остров сокровищ» Стивенсона, и я заболел морем.

«Право руля», «лево руля», «самый малый вперёд», «отдать якорь», «лево на борт», «человек за бортом», «стоп, машина». Волны вздуваются в шторм, на горизонте яркое солнце, садящееся в море. Вижу и цвет воды — зелено-огненный, грязно-синий ближе к кораблю. Я сегодня Джим, и я сам веду корабль, и я — всемогущий. Я не хочу плыть на остров сокровищ, мне не нужно золото. Но я хочу кого-то спасти в пучине морской. Я не должен любить пиратов, но мне нравится Бен Ганн, и есть что-то у пиратов весёлое. Я вытаскиваю пирата, похожего на Бен Ганна, потерпевшего кораблекрушение, даю ему выпить рома и уже вместе с ним стою за штурвалом. Нужно же найти пирату работу! Не может же пират без моря и корабля! Это будет хороший пират — он не будет никого обижать.

Слышу я шум моря. Странный шум — совсем не назойливый, как от поездов в метро, а промывает голову, приобщает меня к воздуху, к свету.

И, когда играю, всё вокруг звучит: и собственный мой голос, отдающий команды, и шум моря, и звон воздуха, и, кажется, даже свет вместе с цветом моря и неба звучат.

Чего придумывать игру?

Снова еду в поезде на север к Шуне. Стучат колёса, тук-тук, мчит меня поезд быстро-быстро, быстрее, чем на корабле. Лес, поле. Снег уже сошёл. И чуть-чуть припорошились поля и деревья зелёной пылью. Бабка говорила: «Шуня там мёрзнет». Долго копила деньги и, наконец, купила у одной умелицы, которая всё может — и шить, и вязать, толстый свитер и толстые брюки из двойной материи. Пусть однажды я уже вёз Шуне свитер и брюки, я ещё раз повезу их, чтобы только увидеть, как обрадуется она, как тут же наденет всё это тёплое богатство и будет оглаживать себя по груди и ногам, и лицо из синюшного на глазах станет светлеть. Хоть и весна, а у Шуни ещё снег и ветер, и вечерами щиплет морозом нос. Вот снова еду. Нет, лучше я повезу Шуне толстое пальто, чтобы ей и на улице тоже было тепло. И свои рисунки повезу, на которых солнце и море: грейся, Шуня!

Тук-тук... еду и повторяю стихи, которые Шуня читала мне:

Дышит утро в окошко твоё,  
вдохновенное сердце моё.  
Пролетают забытые сны,  
воскресают виденья весны...

Звучи, голос, смотрите на меня такие же, как у бабки, въедающиеся внутрь чёрные глаза. Только дома я понял: ведь у Шуни и бабки глаза — одинаковые.

Я не люблю бабку, не хочу прижаться к ней, поцеловать, погладить по голове. Притаилось внутри ожогом слово «мама», его бы произнести замёрзшими губами. Куда бабка дела мою маму? Я чувствую: бабка знает эту тайну. Не люблю бабку.

Но мне жалко её. Часто она застревает взглядом в пустоте. Что слышит, что видит?

Мне жалко бабку. Но зачем она всегда молчит про маму, зачем насильно целует меня на ночь, жмётся ко мне, как к батарее?

А я скорее глаза закрою, вроде сразу уснул, и жду, когда бабка отстанет от меня. Приставучая. «В тебе вся моя жизнь, сыночек!».

А какой я ей сыночек?

Про маму бабка никогда ничего не говорит, а вот про папу бубнит: «Любит тебя сильно папа, вот вернётся...»

Лучше к Шуне поеду, чем торчать целый день в себе самом.

Пусть бабка скорее придёт, накормит меня и откроет наконец книжку. Сегодня обещала про детей подземелья почитать.

В другой комнате живёт чужая тётка, въехавшая самовольно, по словам бабки.

Тётка — молодая. Имя Света.

К ней ходят хахали, как зовёт их бабка, и она с ними громко смеётся.

Крашенные брови острыми углами, крашенные губы бантиком, валик из вытравленных (бабкино слово) волос над голым лбом и всегда мокрый голос.

Когда мужик уходит, Света начинает говорить по телефону слезами.

Но её, злые, и внутренние слёзы у ликов в церкви — совсем разные, у ликов — добрые.

Мокрый голос жалуется на жадность, на вонючесть мужика, на то, что всё сожрал, что теперь надо снова доставать еду и мыть за ним.

— Ну, чего слушаешь то, что слушать не обязательно? — Бабка плотно закрывает дверь в комнату. — Вот поешь. Потом из спичек что-нибудь построишь.

Бабка спички собирает. Керосинку зажигает быстро, чтобы спичка почти целая осталась. Спичек у нас много. Я то дорогу из них бесконечную построю, то человечков соберу, скрепляя руки и ноги каплями растопленного воска от свечи.

Торжественно бабка вынимает из ящика письменного стола листок бумаги. Бумага осталась от папы, на вес золота! Скоро совсем кончится. И карандаши на вес золота: два простых, синий и красный.

— Теперь рисуй сегодняшний день. Узнаем папин адрес и пошлём папе все рисунки.

А что сегодня было? Манная каша? Её не нарисуешь. Да и зачем? Стихи учили: «Когда был Ленин маленький, с кудрявой голо-

вой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной». А ещё учили «Два сокола». Там и про Сталина тоже. Два вождя!

И нашу Марину Дмитриевну не нарисуешь, она такая тощая, что вот-вот переломится. И чулки перекручены.

Всё-таки рисую Марину Дмитриевну: туловище — спичка, руки-ноги — спички и два круглых глаза в вытянутом вверх огурце лица. Глаза крашу синим, а туловище красным.

Рисую горку, маленького Ленина в валенках и с кудрявой головой без шапки на ледяной горке. Рисую двух больших птиц с острыми клювами.

Почему я так ненавижу святую воду? Может, потому, что она никак не в помощи с Мариной Дмитриевной, с Лениным, Сталиным, со спичками, керосинкой и плачущим голосом соседки Светы? Почему мне кажется, эта вода нарушит что-то во мне, смоеет с меня что-то моё, чего никак пока не понимаю.

Бабке рисунок не нравится.

— Причём тут спички? Смотри, у человека есть мышцы, да и одежда сверху. У тебя же всегда человечки хорошо получаются.

Про Ленина и соколов бабка ничего не говорит, но, чувствую, и с ними тоже, похоже, что-то не так.

— Не хочу человечков. Читай мне!

Наступает самое лучшее время в дне.

— Садись-ка, — торжественно говорит бабка. Мы усаживаемся в кресло, бабка накидывает на плечи бардовую шаль, одним концом укрывает мне колени, обнимает меня и опять начинает про Ваньку: — «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца назад в ученики к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество, не ложится спать».

А я закрываю глаза. Так виднее, что бабка читает. Вижу тощего, как Марина Дмитриевна, Ваньку, селёдку, круглые буквы, которые Ванька выводит.

Голос бабкин чуть дрожит от волнения и важности момента. Рука бабки сжимает моё плечо и мешает слушать, но я терплю, потому что Ваньку хорошо вижу, а бабку ещё больше жалко, и хочется сделать ей что-то хорошее. Ей неудобно листать страницы одной рукой, и я, когда она подхватывает страницу, помогаю перевернуть.

Как я хочу, чтобы что-то со мной такое произошло, чтобы я захотел бабку тоже обнять и погладить по голове!

От бабки идёт странный запах ветхости и тоски.

Я люблю, когда бабка читает мне. Это тебе не святая вода.

Ванька старше меня и уже умеет слова писать. Но Ваньку сильно обижают, бьют. И у Ваньки так же, как и у меня, нет мамы и папы. Только у Ваньки — дед, а у меня — бабка, и моя бабка не отсылает меня на заработки, а всё для меня делает. Бабка не бьёт меня и вообще никак не наказывает, никогда не заставляет посуду мыть, вовремя спать укладывает и гладит, гладит по голове перед сном. Боюсь, кожу с головы совсем дерёт, такая жёсткая у неё ладонь!

— Ты обещала сегодня и «Детей подземелья» прочитать.

— Завтра, Венечка, спи, мой мальчик! Ты же просил ещё раз про Ваньку.

Приходит «завтра», и бабка читает мне «Дети подземелья». Как же я волнуюсь! Я совсем не успеваю то Валеком стать, то Марусей... — бабка очень быстро читает. Но они все со мной — здесь, рядом. Глаза закрыты, а я вижу их и слышу голоса всех, хотя звучит только бабкин. А Валек и Маруся... повторяют следом за бабкой — голосами своими! Но обрывает бабка рассказ на середине.

Я хорошо запоминаю имена авторов: Чехов, Пушкин, Тютчев, Короленко, Гайдар, Чуковский.

Стихи бабка любит читать на ночь перед колыбельными, чтобы вместе с засыпанием запоминались. И они запоминаются. На всю жизнь. В трудные минуты я бормочу те, бабкины, стихи.

Вот и сегодня снова звучит Тютчев:

Слёзы людские, о слёзы людские,  
Льётесь вы ранней и поздней порой,  
Льётесь безвестные, льётесь незримые,  
Неистошимые, неисчислимые, —  
Льётесь, как льются струи дождевые  
В осень глухую порою ночной...

...Среди громов, среди огней,  
Среди клокочущих страстей,  
В стихийном пламенном раздоре,  
Она с небес слетает к нам —  
Небесная к земным сынам,

С лазурной ясностью во взоре —  
И на бунтующее море  
Льёт примирительный елей.

В тот далёкий счастливый день, когда она читает мне Чехова, я спрашиваю бабуку:

— Ба, а почему у нас так много книг? Ты все их читала?

— Что ты, сынок? Не все, только на русском. Немецкого я не знаю.

— Как же не знаешь? Война шла с немцами, а как же ты с ними разговаривала?

Бабука не успевает ответить, а я уже следующий вопрос задаю:

— А почему у нас книги на немецком, если мы русские? Нам в саду говорили, мы — русские.

— Твой папа — переводчик с немецкого, он занимается немецкой литературой.

— А разве там есть литература? Там только бомбы и самолёты. Нам в детском саду говорили, что немцы нас убивают, их ещё фашистами зовут.

— Фашисты, сынок... — начинает было бабука и замолкает. — Но в Германии есть и литература, да ещё какая! Гёте, Гейне, братья Гримм, Фейхтвангер, Томас Манн, Ремарк, Гофман... — но тут бабука начинает плакать, а я прикусываю язык.

Это из-за меня бабука часто плачет.

Плачет бабука так горько, что я не выдерживаю:

— Не плачь, ба, пожалуйста, я не могу видеть, как люди плачут.

От этих слов бабука ещё гуще плачет.

— Ты совсем у меня прохудилась. Сейчас таз принесу, ты говорила, солёная вода — полезная.

Бабука бежит из комнаты.

Вот тут и разбирайся, как надо себя вести. Чем это я так расстроил бабуку?

## **МАМА И БАБУКА**

Ещё неделя, и я пойду в первый класс. Бабука купила мне портфель, форму и сказала, что завтра поведёт в парикмахерскую, чтобы снова остричь наголо. И так башке холодно, волос почти нет, а тут ещё наголо! А вечером дочитает «Детей подземелья».

Сегодня у меня последний день в детском саду. И получился он самый слёзный из всех.



Марина Дмитриевна поздравляла нас с поступлением в школу, и конопатинки на щёках подрагивали с каждым словом. Слезными глазами оглядывала всех по очереди и всё равно кричала: «Не забывайте, как вести себя, а то мне стыдно будет!»

Наконец привела нас в раздевалку. Нам нужно взять из шкафчиков все свои вещи. Одеться. Вроде ещё лето, август, а ветер сегодня ледяной и дождь. Бабка утром напялила на меня пальто с шарфом.

В тот день я словно сомлел.

Всегда одеваюсь быстрее всех, а тут со всех сторон пикирует в уши: «мам!», «мама», «мамуль», «сынок», «доченька», и в глаза лезут умильные улыбки матерей.

Один за другим исчезают из раздевалки ребята со своими матерями. А я ни рукой, ни ногой пошевелить не могу.

— Давай одевайся, пойдём домой, — просит бабка. — Смотри, все ушли. Ты что, один останешься в саду? А хочешь я одену тебя? Я мотаю головой.

Тётя Мотя садится рядом со мной и вторит:

— Давай я одену тебя...

— Пусть мама придёт и оденет, — вырывается ещё ни разу не тронутое губами слово. — Всех мамы одевают.

Бабка вздрагивает.

— Сынок, разве я не стараюсь? Разве я не люблю тебя, как папа и мама?

— Я тебе не сынок. И ты старая, а все мамы — молодые! — кричу я.

Бабка заплакала. И тётя Мотя заплакала. И обняла бабку. И стала сквозь слёзы объяснять ей:

— Я прежде в детдоме работала воспитателем, я тебе не говорила. Не выдержала. Тут один, твой, а там, как к ночи начинается — «маму хочу!», «позови мою маму», хор!, хоть помирай, сердце рвётся.

Оказывается, бабка и тётя Мотя — подруги, на «ты». Оказывается, они часто и без меня встречаются. И бабка специально отдала меня в этот детский сад, чтобы тётя Мотя была рядом со мной вместо неё.

Бабка захлёбывается. И тётя Мотя — в унисон.

— Ба, не плачь! — пугаюсь я. — Ты только скажи, где моя мама? Когда придёт?

Тётя Мотя приносит воду. Поит бабку.

В сумеречной раздевалке детского сада, с красным грузовичком, уткнувшимся в нижнюю ячейку девочки Аси, с нянечкой

и воспитательницей тётей Мотей, ожидающей сторожа, с вибрирующим в бабкиной руке стаканом, я слышу:

— Не знаю, сынок, где твои папа и мама.

— Они бросили меня? Совсем бросили?

— Нет, сынок, они крепко любят тебя.

— Не понимаю, зачем тогда они от меня ушли? Почему у меня нет мамы и папы?

И тут тётя Мотя закричала:

— Хватит, Венечка, мучить свою бабушку! Ты же — мужчина, ты же — защитник! Мужчины страну и женщин защищают. Пожалеть бабушку надо! — Из сетки добрых морщин и из раскосых зеленоватых глаз столько веры в мою силу плеснуло мне в лицо жаром, что я прикусил язык. Оделся мгновенно и потянул бабку.

— Идём, ба, идём! Опирайся на меня, я же мужчина.

Бабка осела на детскую лавку.

А я недоумённо спросил тётю Мотю:

— Что это она? Я же мужчина. Боль терпеть умею. А теперь никогда больше плакать не буду. Слово мужчины.

Бабка затряслась ещё сильнее, но я стал растирать её спину и приговаривать:

— Идём домой, я буду тебя защищать. Идём же!

Я сегодня не в себе.

Твержу себе тёти Мотино — «Я — мужчина», а внутри всё повторяется: «мама», лёгкое слово невозможности.

Когда, наконец, пришли домой, бабка сказала:

— Дождь кончился и ветер поутих. Может быть, нам и бабье лето перепадёт?! Иди, сынок, во двор, погуляй.

— Один? Можно?

— Пора тебе учиться самостоятельности, в первый класс пойдёшь. Я пока приготовлю ужин. На-ка ключ. Смотри, как запираешь дверь, как отпирать. Теперь раньше меня будешь домой приходить, пока всех больных приму... Теперь ты должен стать самостоятельным, — повторяет она. А глаза от меня прячет.

Мальчишки играют в футбол, я стою у стенки дома. Знаю, никто меня не позовёт в игру, потому что я меньше всех, потому что меня никто не знает («бабкин сынок») и потому, что я не умею играть в футбол. Летит мяч, я шевелю ногой, словно примериваясь ударить. И тут же вижу себя несущимся по двору. Внутри расширяется пространство, и двор превращается в большое поле, я несусь по

полю, и это я сцеплен ногой с мячом и сейчас сам забью гол. Вжимаюсь в серую стену, сегодня напитанную холодом.

Но почему-то вдруг вижу плачущую бабу. Как горько она плачет! Меня заполняют её слёзы, и туманом заволакивает странное ощущение беды... щиплет глаза, тянет книзу живот.

И я бегу домой.

Пальцы не слушаются, тычу ключ в замок, а он не попадает в щель.

Из-за двери жалуется голос Светы: «Не позвонил, представляешь? Обещал и не позвонил, урод. Я ему рубашку купила на день рождения. Пропал».

Наконец вхожу в переднюю и чуть не бегу в свою комнату. Хочу закричать «ба!», а почему-то едва шепчу. Я вытру её слёзы, я поглажу её по голове, я не буду звать маму. У меня есть бабушка! И я должен защищать её! Я — мужчина.

Бабушка сидит за обеденным столом, уронив голову в руки.

— Ты что в скорби застыла? — спрашиваю, не понимая, почему никак не даётся мне голос.

Мне, как и бабушке, нравятся фразы-формулы, таящие в себе насмешку или что-то пока непонятное. В таких фразах, коротких и ёмких, как бы собирается целая история, о которой можно фантазировать. Называет бабушка такие фразы афоризмами. И сама часто говорит афоризмами.

«В скорби застыла» — значит произошло что-то плохое. Я виноват?

Бабушка не отвечает.

Такое случается часто, когда бабушка не отвечает. Если она задумывается или читает.

Она любит забраться в отцовское кресло и читать.

Позовёшь её, а она и не слышит.

Подойдёшь к ней, дёрнешь за шарф, что всегда обматывает её шею, или за шаль, она посмотрит на тебя не видя и снова — в книгу.

— Волнение охватило тебя, или бурлящее море залило палубу? — сбиваю пафосом страх.

Бабушка головы не поднимает.

Обидел я её сегодня. Вот она и не хочет знать меня.

Двумя руками осторожно едва дотрагиваюсь до её плеча, боюсь спугнуть со сна или испугать, если в мыслях витают. И вдруг моя стойкая, незыблемая, надёжная и сильная бабушка начинает валиться со стула и рухнула бы на пол, если бы я не подставил себя под неё.

Грохочет в голове, и вспыхивают разные огни, как в шторм.

Хорошо помню тот шторм.

Бабка повезла меня к подруге купаться в Чёрном море. А вместо купания одни брызги и грохот моря и неба. Волны взъяривались до неба и со злобой валились в бурлящую пучину, заливали берег, новые вставали на дыбы и тут же разбивались в брызги. А небо раскатывалось яркими длинными огненными языками и грохотом.

Шторм бушевал всю неделю, что мы жили у бабкиной подруги.

Сейчас я так же оглох и ослеп — шторм бушевал в голове.

Я не мог больше держать бабку на себе, сейчас рухну вместе с ней, и бабка придавит меня.

Мокрый голос ворвался в шторм:

— К телефону!

И через мгновение распахнулась дверь.

— Оглохли, что ли?! — Но тут же: — Ой, мамочки! Ой, люди добрые, преставилась! — Голос юлил уже над ухом, растворяя грохот в голове. Руки Светы потянулись помочь мне, но не успели: я внезапно потерял тяжесть бабки и рухнул с ней вместе на пол. А мокрый голос уже кричал в коридоре: — Преставилась! Делайте что-нибудь. Быстрее! Я одна боюсь! Приезжайте скорее! — И снова голос надо мной, совсем не мокрый, властный: — Ты мужик или баба? Ну-ка, вставай. Давай оттащим её на кровать. Вызовем «скорую».

Дальше провалы и вспышки.

Врач, санитары в белом.

Незнакомый, совсем молодой голос:

— Сынок, сыночек, поплачь! Я у тебя есть!

Мама пришла? Моя мама?

— Мама! — прошептал я без голоса.

Лица ещё не видел, только косы на груди, толстые, светлые косы. И тепло спеленало меня, растапливая страх. Мама пришла наконец.

— Не мама, я — сестра твоей мамы!

— Не мама? Тогда не зови меня «сынок», я хочу бабу! Подними мне мою бабу.

— Бедный мальчик! Потерпи. Теперь я у тебя есть!

— Если ты у меня есть, почему ты никогда не приходила?

— Агнесса не пускала. Боялась, ты захочешь жить со мной, а не с ней. Она — мать твоего отца, и у неё больше никого на свете.

— А у тебя?

— И у меня, кроме тебя, никого. Жениха убили на войне. А се-стра... ну, ты знаешь.

— Не знаю. Где мама?

И тут я увидел глаза. Испуганные, влажные, невыливайки. Сле-зы стоят, и сквозь них мерцают точки света.

— Мама жива.

— А где она?

Тётя не ответила.

— А где мой папа?

— Не с мамой. Мама всё время спрашивает о тебе. Вот я и звоню Агнессе узнать. Что она про тебя расскажет, то и пишу маме. Сколько раз просилась к тебе приехать, ни в какую: «Только через мой труп!»

На столе в гробу бабка. Личико — маленькое, обвязанное шар-фом. Сейчас раскроет свои глазищи и скажет: «Вот умоемся святой водой, и всё заживёт!»

Я вскочил и побежал к шкафу, где у нас на самом виду стояла пузатая бутылка. Не даюшимися пальцами схватил её, а она вы-скользнула из рук, упала и разбилась. Стал судорожно собирать во-ду в горсть. Кинулся к бабке. Водил мокрыми ладонями по её лицу, бормотал:

— Вот тебе! Открывай глаза скорее!

Бабка глаза не открыла.

Я снова собирал воду в горсть и снова растирал бабкино лицо.

— Ба, это живая вода, ты читала мне! Скорее возвращайся ко мне! Почему ты такая ледяная?

Тётка обхватила меня, оттащила от бабки.

— Что ты делаешь? — с ужасом лепетала. — Бабушка умерла, ты должен понять это.

— Пусти меня!

Она отпустила и, схватив полотенце, висевшее на стуле, броси-лась обеими руками жадно собирать в него живую воду, осторожно отодвигая осколки.

Изо всех сил я забарабанил кулаками по её спине.

— Перестань! Что ты делаешь? Это святая вода! Это живая вода! Она спасёт мою бабушку! Перестань.

Но тётка вскочила, схватила мои руки и закричала:

— Как ты смеешь меня бить? Какая «святая»? Обыкновенная во-да! Тебя обманули! — Раздражение убило невыливайки, на меня смотрели чужие, не любящие меня глаза.

Я вырвался, подскочил к бабушке, стал гладить её плечи, её голову в серо-синем шарфе, острые уголки плеч... «Ба, я буду всегда тебя гладить, я поцелую тебя, только открой глаза, — молил я бабушку про себя. — Я хочу, чтобы ты всегда была со мной!»

Но вдруг руки сами упали вдоль тела.

Бабушка не слышит моих слов?

Почему не открывает глаза?

До мокрого её лица больше дотронуться так и не смог, ладони вспомнили, что лицо совсем ледяное, святая вода не согрела его.

Закрытая, запечатанная в себе бабушка.

— Веня, мальчик мой маленький, приходи в себя поскорее! — Тётушка обняла меня, прижала к груди, и коса щекотала мне щёку. — Перетерпи, мой мальчик. Пожалуйста, перетерпи. Я помогу тебе. Я буду любить тебя. Я всё сделаю, чтобы ты перетерпел. Помоги мне, пожалуйста. Ты не знаешь, где бабушкина записная книжка? Мне нужно позвать коллег и друзей на похороны.

Когда тётушка ушла в коридор звонить, я подвинул стул к столу, сел и стал смотреть на бабушку.

Значит, бабушки больше никогда не будет? «Преставилась». Это значит «умерла»? Много героев сказок и книжек умирали. Я думал, понарошку, это игра такая, просто они убежали со страниц книг. А тут вот лежит, не слышит меня моя бабушка, никуда не убежала, но её больше нет. Слова «больше нет» никак не умещались в голове.

В тот день в те минуты моего сидения возле бабушки я превращался из ребёнка во взрослого.

«Если бы я умел читать, я бы сейчас дочитал тебе „Дети подземелья“, — говорил я бабушке, — и тебе стало бы интересно, и ты перестала бы так лежать! Когда я рассказывал тебе сказки, которые придумал, ты так слушала меня!».

Теперь я знаю, что значит «умереть». Это не слышать того, кого ты сильно любишь. Это не смотреть на того, кого ты сильно любишь.

Тётя Мотя и ты горько плакали, потому что вы что-то обе знали такое, чего я тогда не знал. Ты не сказала мне, почему ты так плакала. Я хочу, чтобы пришла тётя Мотя и села рядом со мной.

Я вышел в коридор.

— Похороны послезавтра в десять утра, — говорит тётушка.

Света тоже стоит тут, подперев рукой щеку.

Но вот тётка кладёт трубку, начинает рассматривать что-то в записной книжке, а я прошу:

— Позови мне тётю Мотю. Она вместе с бабой плакала в детском саду. Она с ней на «ты». Они дружат.

— Сейчас уже поздно, и сегодня был тяжёлый день, — говорит тётка. — Завтра обязательно пойдём с тобой в сад и скажем тёте Моте.

— Мне нужна она сейчас.

— Сейчас мы с тобой поедем ужинать и спать ко мне, не хочу, чтобы мы вторую ночь не спали, я с ног валюсь. Только позвоню ещё кое-кому.

Света позвала:

— Веня, идём ко мне, я покажу тебе «Весёлые картинки».

— Не хочу «Весёлых картинок». — И я пошёл обратно к бабке.

Но теперь почему-то мне стало очень душно около неё, я вернулся в переднюю, сел на пол, прижавшись к стене, и стал слушать то-ропливый говор тётки: «умерла, похороны послезавтра в десять»...

Троллейбус, чужие запахи чужой квартиры, колбаса, диван цвета травы, с золотистыми кругами, с жёсткой подушкой.

Голос тётки:

— Зови меня Лима. Мой отец, твой дед, занимался Древней Грецией, помешан был на ней. Назвал Олимпией. Ненавижу своё имя. Если бы могла, поменяла бы. Маму уже по-человечески назвали — Иринкой.

— А где твой папа сейчас? В Древней Греции?

Лима снова смотрит на меня невыливайками и молчит.

— Ты что молчишь? Баба говорила «Нужно ехать туда, куда сердце зовёт».

— Его не сердце позвало. Может, и в Древней Греции.

— А твоя мама?

— Мама не выдержала. Очень любила.

— Она, как баба, умерла, да?

Лима сидит у меня в ногах на диване. И вдруг проводит по моей щеке нежной, молодой рукой и ещё гладит. И смотрит... так, как смотрела бабка, — всей собой!

Невыливайки...

## **Похороны**

— Совсем молодая ушла. Что за возраст — пятьдесят один?!

— Прекрасный терапевт, вылечивала.

— Методы у неё: умела вытащить болезнь наружу! Талант! Скольких в своём районе спасла!

— Внук всей жизнью был! Ты смотри, Венечка, оправдай её надежды. Очень она верила в твой талант, говорила: «Всё умеет обдумать, обо всём рассудить, живёт внутренней жизнью!». Очень гордилась она тобой, Венечка!

— Дальше пошла учиться — в аспирантуру! Чуть-чуть не закончила... Уже целый год преподавала там. Обстоятельства... А какая умница...

— Страдалица. Столько пережить! И мужа, и сына сразу...

— Послушайте, как она впервые пришла на практику. Нужно диагноз ставить, а она ревет. Ну, я, как её преподаватель, испугался слезливой барышни, спрашиваю: «Что случилось?» А она смотрит своими глазами, говорит: «У больного симптомы всех болезней, и грипп, и гипертония, и инфаркт. Как же мне его лечить?» А я засмеялся. Она сразу и перестала реветь, вытаращила глаза. Ну, я и объяснил ей, что не нужно паниковать, и это только кажется, что симптомы всех болезней собрались вместе. Конечно, слабость — серьёзный показатель, но ведь слабость при любой болезни может быть. И сердцебиение может возникнуть при любой болезни, когда температура. И так далее. В общем, привёл её в чувство, успокоил. Прекрасный она врач, дотошный, всегда вглубь смотрит. Очень внимательная была. Талант! Сколько лет одни похвальные грамоты. Диагнозы — точные. Больные выздоравливают. Я и посоветовал ей пойти в аспирантуру. И какая красивая была!

Сидим за нашим большим столом, на котором лежала бабка. Не все поместились, кто-то и во втором ряду с тарелкой в руках.

Всем миром хоронят бабку. Кто блины принёс, кто салат, кто колбасу.

«Собрали поминки», — как сказала тётя Мотя.

Тётя Мотя — рядом со мной, подкладывает еду.

— Ешь, пожалуйста. Ты теперь сам себя береги. Держись, сынок, — говорит она бабкино слово. — Помни, ты — мужчина, должен перенести горе, тебе дальше жить. Да, твоя жизнь изменится, а ты всегда помни, бабушка тебе всю свою жизнь отдала, хотя сама ещё совсем была молодая.

— Почему же тогда «бабушка», если молодая?

— Так устроена жизнь, Венечка, что, когда у сына или дочки родится ребёнок, женщина становится бабушкой. Это не отнимает у неё самой того, что она-то ещё молодая. Скоро в школу, Венеч-



ка, пойдёшь, взрослым станешь, своих детей народишь, а бабушку не забывай, она сильно любила тебя, жалела, очень гордилась тобой! — шепчет мне в ухо тётя Мотя. И хочется мне, чтобы она шептала и шептала, и рассказывала про бабуку. От тётки Моти идёт та же ко мне любовь и та же жалость, что от бабуки.

— Хочу сказать. — Встала Света. — Я-то её получше вас всех знаю. Терпеливая Агнесса Михайловна, добрая была. Меня подкармливала. Жалела сильно сироту, собирала мои слёзы, советы давала: «Учись вечерами, девочка, чтобы профессия была счастливая». Вот я и учусь на инженера-строителя, скоро стану строить дома. Все наши разговоры с ней, когда Венечка уснёт. Придёт ко мне и спрашивает, о чём я думаю, чего жду от жизни. Я ей всё про любовь... что замуж хочу, сыночка родить. А она мне про учёбу. Твердила: будет профессия, и любовь сама придёт, не беги впереди паровоза. Перед всеми, Венечка, тебе говорю: комнату твою сохраню в целости до твоего совершеннолетия. Пыль буду вытирать. Книги твои буду читать, но из комнаты не вынесу, все тебе так и вручу — на своих местах! Мне Агнесса Михайловна давала читать, хотела, чтобы я облик обрела, как она говорила, человеческий. Не бойся, ничего не пропадёт. А уж как я-то теперь без неё?

Горели два ярких пятна у Светы на щёках, лились слёзы из глаз.

— Ты, Венечка, знай, я тебе тоже теперь как родня. Захочешь поговорить, позвони и скажи «Света, слушай меня» и говори всё, что хочешь, я тебя всегда буду слушать.

Тётя Мотя опять плачет. Что же у неё такое сердце в слезах, как у Светы глаза?!

...Дурной сон. Бабука учила поплевать через левое плечо и сказать «Куда ночь, туда сон!» Говорила: «Твой дурной сон рассыплется под этими словами, не сбудется!»

### **ЛИМА И У МЕНЯ ЕСТЬ МАМА**

Снова я еду в троллейбусе и незаметно плюю через левое плечо и прошу: «Куда ночь, туда сон».

Искоса поглядываю на тётку.

Она — молодая, как все мамы в детском саду, с косами на груди. Только мамы весёлые, а тётка словно застыла. И вдруг понимаю: это она от страха.

— Чего ты боишься? — спрашиваю её.

Лима повернулась ко мне, смотрит удивлённо.

— Ты прав, Веня, боюсь, Веня. Не представляешь себе, как боюсь. А вдруг не смогу заменить тебе...

— Не бойся, — прерываю её. — Я буду слушаться. А у тебя есть святая вода? — Но тут же затыкаюсь, вспоминаю, как она кинула на бабкину святую воду полотенце и сказала, что меня обманули и что эта вода — обыкновенная.

— Какая «святая»? Я хочу тебе сказать, это пережитки, в это вредно верить...

Я спешу объяснить:

— Если святой водой умоешься, все хвори пройдут, и никакая беда не приключится.

Лима судорожно оглядывается, не слышал ли кто?

— Бедный ребёнок! Отравлен совсем. Нет у меня святой воды. Зато книжек много!

— Это хорошо, — говорю я, затаившись и не понимая, почему нельзя говорить о святой воде? Сейчас мне так нужна эта святая вода! — Я люблю слушать книжки. Мне баба не дочитала «Дети подземелья» и обещала прочитать «Белого пуделя».

Лима испуганно смотрит на меня.

— Ты не бойся так, — спешу я успокоить её. — Скоро я сам научусь читать.

После ужина я вдавился в диван цвета травы, подмигивающий мне золотыми кругами, и не знаю, что делать. Лима после ужина на кухне моет посуду.

Комната у неё квадратная, больше бабкиной, с широкими и высокими окнами.

Лима, наверное, забыла шторами укрыть их. И чернота струится в комнату потоком. Высокий этаж, никаких фонарей. Ни звёзд, ни луны. Сейчас затопит меня тьмой, несмотря на лампочку на стене. Закрываю глаза. Лучше не смотреть.

— Смотри, — чуть дрожащий голос Лимы, и, когда я открываю глаза, вижу лица. Совсем молодые, как мамы в детском саду. — Мне на колени Лима кладёт тяжёлый альбом. — Это твои мама и папа на свадьбе.

Папу я знаю. Он сидит на коленях у бабки и у деда. У бабки и у деда глаза похожие: чёрные. И у папы на маленьком лице большие чёрные глаза. У бабки вся стена папой увешана: маленький голый, в детском саду, лысый школьник, студент.

— Мама очень любит тебя. Давай вместе напишем ей письмо.

Внутри возникает дрожь, какая была в последний день детского сада.

Вот же, у меня! тоже есть мама!

Смотрю в мамины глаза.

Вот сейчас мама заговорит и скажет мне ласково «сынок!», как говорила бабка и как говорили чужие мамы своим детям в детском саду.

Вот сейчас мама заговорит и всё объяснит мне.

Моя мама красивее всех мам, которые приходили за ребятами. У неё, как и у Лимы, толстые светлые косы на груди. Они с Лимой похожи и не похожи. Мама смеётся. Весёлая мама, а Лима — грустная.

— Я хочу, пока мама не вернётся, жить с бабкой, — добавляю я грусти Лиме и тут же поправляюсь: — И с тобой хочу попробовать. Ты не расстраивайся. Я хочу плакать и не могу, здесь железка застряла, — я ткнул себя в грудь.

— Ложись-ка ты спать. Я взяла несколько дней, остался один. Завтра заберу документы из той школы, в которую тебя устроила бабушка, переведу сюда: твоя школа будет совсем близко. И потом завтра мы с тобой вместе маме письмо напишем. Хорошо?

Лима не почитала мне перед сном и не спела колыбельную, и не поцеловала, как бабка. Только по щеке провела нежной рукой, и щека согрелась.

Смотрю в потолок и думаю о том, что такое Древняя Греция, и где мои мамины бабушка и дедушка, и где сейчас бабка, и где сейчас папа с мамой, и что такое переводчик с немецкого? И сам себе про себя пою бабкину колыбельную: «Спи, моя радость, усни...»

Но письма маме мы на другой день не написали. Мы перевозили мои вещи, раскладывали их на полках в шкафу, потом варили суп. День быстро кончился.



**ТАТЬЯНА УСПЕНСКАЯ (ОШАНИНА)** — писатель, педагог и редактор — родилась в 1937 г. в семье биолога и писателя Елены Успенской (внучки писателя Глеба Успенского) и поэта Льва Ошанина.

Окончила Московский университет. Много лет преподавала литературу, из которых десять лет (1962–1972) работы в знаменитой Московской физико-математической школе № 2 для одаренных детей она считает лучшими годами в ее жизни. Это была школа абсолютной внутренней свободы, воспитывающая человека, свободного от партийных догм и зависимости от власти; школа, дарившая способность анализировать, раскрывавшая творческие способности, формировавшая яркую, самобытную личность. И самое главное — это была школа со своим кодексом чести и нравственности. Со многими учениками (а многим сейчас уже за 70!) она до сих пор вместе — звонят, пишут, приезжают.

После разгрома школы в 1971 году работала редактором в издательстве «Современник». Переводила книги с подстрочника. Публиковалась как критик в журнале «Нева». Весной 1990 года была приглашена в Пенсильванский университет читать лекции об А. С. Пушкине и современной русской литературе.

Написала тридцать романов и повестей в числе которых «Шаман», «Я вышла замуж в Америку». Большинство ее книг были изданы в Москве издательствами «Советский писатель», «Молодая гвардия», АСТ и др.

В настоящее время живёт с семьей в Коннектикуте, США.

---

Роман «Возмездие» Татьяны Успенской (Ошаниной) — это многослойное произведение, в котором переплетаются две основные темы: любовь главного героя к девушке и к каждому члену его семьи, и в то же время — ненависть к ровеснику, «кагэбэшнику», убийце и подлецу, к системе, в которой возможны торжество насилия и жестокости, убийство ни в чём не повинных людей.

Это история о мести за любимую и за несостоявшуюся личную жизнь, о преступлении, совершённом главным героем — блестящим хирургом, книга о муках совести и попытках её успокоить. И ещё это роман об особенных, чистых людях эпохи, о прекрасных врачах, подаривших жизни больным, о жертвах сталинщины, погибших или выживших в муках, но сохранивших свои личности вопреки ужасам тяжёлого времени.